

Н. С. ГАЛУШИНА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ О СИРОТСТВЕ: КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ И СТРУКТУРЫ

При анализе интервью с молодыми людьми, имеющими опыт сиротства, выявлен особый тип нарративной стратегии представления своей жизни — биография как преодоление. Сиротство репрезентируется через имплицитные повествованию категории, в первую очередь «бессубъектности», которая предстает как неспособность принимать самостоятельные решения, отсутствие понимания происходящего, отсутствие или неполнота права собственности и распоряжения личным имуществом и т. д. Помимо этого повествования фиксируют категорию «бездомности» и сложно структурированную в сознании респондентов категорию «родства». Преодоление трактуется как приобретение субъектности через получение профессионального образования, обретение собственного дома, «примирение» (часто мнимое) с кровными родителями. Особенную роль в силу возраста и социальной ситуации респондентов играет начало профессиональной деятельности, которое отчасти и задает выбор названной стратегии.

Ключевые слова: нарратив, биографическая работа, преодоление, сиротство, бессубъектность, родство, бездомность, травма.

GALUSHINA NATALIA S.

AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE ON ORPHANHOOD: KEY CATEGORIES AND STRUCTURES

The analysis of interviews with young people who have orphan experience reveals a special type of narrative strategy of presenting their lives — biography as overcoming. The orphanhood is represented through implicit narrative categories. The main is “lack of agency”, which appears as the inability to make independent decisions, lack of understanding, lack or incompleteness of ownership rights and disposition of personal property, etc. Also, the narratives show the category of “homelessness” as well as an extremely complex category of “kinship”. Overcoming can be understood as the acquisition of agency through vocational education, getting your own home, “reconciliation” (often imaginary) with blood parents. Due to the age and social situation of the respondents, the beginning of professional activity partly determines the choice of the identified narrative strategy.

Keywords: narrative, biographical work, overcoming, orphanhood, lack of agency, kinship, homelessness, trauma.

Развитие социально-гуманитарного знания второй половины XX — начала XXI в. ознаменовалось рядом познавательных поворотов. Наиболее признанные — лингвистический и связанный с ним культурный повороты. Метафора «поворота» стала удобным инструментом описания изменения методологических установок или, точнее, угла зрения, под которым рассматриваются иногда привычные объекты. Так, Дорис Бахманн-Медик выделяет семь «культурных поворотов»: интерпретативный, перформативный, рефлексивный, постколониальный, переводческий, пространственный и пикториальный (иконический) (Бахманн-Медик 2006). При том, что в той или иной степени биографические исследования осуществлялись в мировой социологии на протяжении всего XX в. (Рождественская 2012: 5–18), всплеск интереса к индивидуальным историям — биографиям и автобиографиям, мемуарам, дневникам и иным эго-документам — на рубеже XX и XXI вв. стал настолько заметен, что также получил название «поворота» — биографического (Chamberlayne 2000). В российской науке интерес к биографическим исследованиям довольно высок: от библиографических обзоров (Рогозин 2015) до исследования методологии (Рождественская 2012), а также конкретные исследования в различных областях: религиозности (Островская 2016), гендера (Здравомыслова, Темкина 2007), миграции (Сушко 2016) травматического опыта (Рождественская 2012: Гл. 5) и других.

Наряду с тем значением, которое обращение к историям жизни и фактам индивидуальных биографий имеет для понимания современного индивидуализированного общества (Рустин 2002), следует отметить и тот смысл, который биографический метод имел еще в момент его формирования в русле Чикагской школы: «...именно биографический метод, биографический нарратив, изучение жизненных историй обрели статус надежного инструментария для изучения социокультурной инаковости, труднодоступных групп населения, терминально больных пациентов и др.» (Островская 2016). К подобным группам, на наш взгляд, можно отнести и детей, оставшихся без попечения родителей.

В исследовании сиротства обращение к личным историям людей, имеющих «опыт сиротства», имеет несколько принципиальных смыслов.

Во-первых, в обсуждении сиротства как социальной и гуманитарной проблемы сами сироты практически не имеют собственного «голоса». Частично рассказ о сиротстве «от первого лица» реализуется

в автобиографической литературе (Р. Гальего Гонсалес, А. Гезалов), частично, в условиях информационной среды «новых» медиа, в форме, например, блога. Тем не менее это скорее исключение, чем правило, и в первую очередь в пространстве обсуждения проблем детей, оставшихся без попечения родителей, заметны позиции государственных функционеров, представителей общественных организаций, экспертов, журналистов. Становится заметнее участие приемных родителей и усыновителей — также в основном благодаря социальным сетям и другим «новым медиа». Сами же дети остаются скорее *объектом* дискуссий, эмоциональных реакций, правовых инициатив и т. д.

Во-вторых, если проблематизировать понятие «опыт» — в данном случае, «опыт сиротства» — то возникает вопрос, как этот опыт встраивается в картину мира сироты, каким образом переживается, насколько тотален. Такую постановку можно назвать выстраиванием антропологии сиротства.

Исследование, легшее в основу данной статьи, строилось на основе анализа текстов глубинных интервью молодых людей от 17 до 23 лет¹, имевших опыт проживания в детских учреждениях и/или принимающих семьях, с помощью методов культурологии и качественной социологии (обоснованная теория, дискурс-анализ, нарративный анализ) в контексте традиции «понимающей» социологии, ориентированной на выявление и интерпретацию индивидуальных смыслов социальных действий.

Интервью брались Т. Д. Панюшевой, психологом Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», человеком, хорошо знакомым респондентам. Задачей интервьюирования было получить истории, отражающие опыт сиротства молодых людей. Таким образом, в результате был получен ряд нарративов — «повествований», в которых разворачивается некоторое действие и которые могут быть проанализированы как с содержательной, так и с формальной точек зрения.

Все респонденты² (пяти интервью) — социальные сироты. Одна из респонденток — Ника — формально не является сиротой, однако в сложной жизненной ситуации не получала поддержки от семьи. По сути речь здесь идет о «скрытом» социальном сиротстве (Сушко 2009).

¹ Тексты интервью в частично обработанном виде, представленные Т. Л. Панюшевой, опубликованы в: Без родителей... 2019: Гл. 5.

² Таня, Владимир, Наташа, Ника, Полина — вымышленные имена, под которыми опубликованы интервью и на которые я буду ссылаться в дальнейшем.

Анализ нарративов опирался на несколько базовых вопросов:

1) из каких элементов состоит повествование — иными словами, какие эпизоды отбираются, о чем респонденты считают важным сообщить;

2) какой логикой связаны данные элементы, какова структура повествования;

3) какова позиция нарратора (что представляет собой нарративное «Я»)?

* * *

Работа с транскриптами интервью происходила следующим образом: текст повествования разбивался на фрагменты (секвенции), границы которых определяются границами биографических эпизодов или же логическими или интонационными границами. Эпизоды кодировались с точки зрения содержащихся в них проблем и смыслов (открытое кодирование). Затем эпизоды со схожей кодировкой сопоставлялись, уточнялись и раскрывались категории, с помощью которых осуществлялось кодирование (осевое кодирование). После этого выбирались наиболее значимые эпизоды и обобщались в наиболее абстрактные категории (выборочное кодирование). В результате были получены наиболее принципиальные темы и категории, через которые раскрывается опыт сиротства, представленный респондентами.

Так, ключевой категорией, описывающей негативный опыт, является «**бессубъектность**» (Без родителей... 2019: Гл. 4). Обращает на себя внимание, что в тех ситуациях, когда субъектность ребенка (а иногда и взрослого) наиболее ограничена, в речи респондентов используется страдательный залог.

В первую очередь, это характерно для секвенций, связанных с описанием *изъятия детей из семьи* и помещением в детский дом:

Как забирали из дома: помню, машина приехала. <...> Нас всех собрали, посадили в машину. Собирали не родители, а приехавшие незнакомые дяди-тети. Нам дали игрушки, когда мы сидели в машине. Развлекли нас как-то, наверное. Нам никто ничего не объяснял. <...> Потом нас переедали. Дали кушать. Играли с нами. Мы поняли, что это другой мир уже какой-то [Таня].

И меня, соответственно, забрали. Не сказали им, куда меня забрали, что со мной вообще будет. И в интернат меня поселили [Наташа].

Тут я приезжаю: у меня забирают всю одежду, моют, стригут и выдают точно такую же одежду, как у всех вокруг. Никто ничего не объясняет: милиция отвезла в детскую комнату милиции. Я очень долго там сидел, меня посадили за компьютер какие-то шарикотыкать. Потом привезли в этот приют и все. Где-то неделю еще я жил в этом приюте, а дальше на месяц меня отправляют в больницу. <...> Тебя, грубо говоря, от сиськи матери забрали, непонятно куда опустили, потом еще черт знает на сколько в больницу отправили, к тебе туда никто не приезжает [Владимир].

В детский дом меня тогда, в детстве, отправила крестная, потому что родную маму положили в больницу. Я жила у соседней несколько недель, а потом меня отправили в детский дом [Полина].

Второй большой сюжет — «*возвраты*» (ситуации, когда усыновленных или взятых под опеку детей приемные родители возвращают обратно в детские учреждения):

Им это не понравилось, и они меня вернули, мне кажется. Ничего не объяснили, просто помню, я вернулась обратно. Сама решила, что вернули из-за характера [Наташа].

И я помню, что оттуда тоже меня вернули, тоже я чем-то не понравилась. Почему не сказали (может, я не помню, я же маленькая была) [Наташа].

Кроме страдательного залога, относящегося скорее к автоматизмам использования языковых средств, в приведенных выше цитатах присутствует рефлексия относительно собственной бессубъектности, выражающаяся в фиксации непонимания происходящего и отсутствия каких-либо адресованных ребенку (и иногда взрослым) объяснения: «никто ничего не объяснял» (тройное отрицание в одной фразе), «не сказали».

Ты не знаешь, куда, что и почему. И хорошо, если ты совсем маленький и об этом не задумываешься, а задумываешься о том, как поиграть там, еще что-то. Если ты старше, то ты не в понятиях, что, как и почему. И не то чтобы не думаешь о будущем — вообще все непонятно [Владимир].

Интересно, что и ситуация *принятия ребенка в семью* — казалось бы, позитивная — характеризуется по большей части бессубъектностью:

Чуть-чуть там пожила, а потом семья пришла и меня забрала. Пришла женщина, которая забрала меня и мою сестру — только девочнок, двоих. Она никогда не отдавала нас обратно, в этой семье я живу до сих пор [Таня].

Она меня летом забрала из дома отдыха, и мы поехали к ней на дачу. Осенью она отправляет меня в школу с углубленным изучением английского языка [Владимир].

Даже в интервью Полины, чей опыт выглядит наименее травматичным, пассивное состояние ребенка проявляется и семантически, и синтаксически: «меня взяли в семью», «во время знакомства я вообще не понимала, что происходит, не осознавала» «меня взяли погулять». Однако для «благополучной» Полины это краткое описание в страдательном залоге быстро сменяется субъектной позицией:

Один-два раза мы гуляли, потом я съездила в гости на дачу, потом в гости в квартиру, а уже потом я переехала насовсем. Только постепенно я поняла, что произошло, и привыкла. После переезда я довольно быстро стала называть маму мамой [Полина].

Лишение субъектности происходит не только в ситуации изъятия из семьи. Это одна из характерных черт *пребывания ребенка в детском доме*:

На высоких полках стояли куклы красивые. И нам давали в них играть, только когда приезжали какие-то там... телевидение. Доставали этих кукол, одевали нас в красивую одежду, доставали нам новые красивые платья, бантики. Доставали все эти куклы, разрешали нам в них играть.

Ограничение возможности играть в игрушки можно считать проявлением ограничения собственности. Эта практика распространяется не только на детей, живущих в интернатном учреждении (Наташа), но и на взрослых, находящихся в кризисном центре при детском доме (Ника):

Один раз, у них была там большая кладовка, она (воспитатель. — *Н. Г.*) забрала все (новогодние. — *Н. Г.*) подарки, и когда мы на следующее утро встали, мы обнаружили просто, что все подарки наши вскрыты, и там половины конфет нету. То есть она просто забрала себе домой все, что ей захотелось [Наташа].

Один раз я прихожу из института, и одна из воспитателей все мои вещи из шкафа вытащила и по-своему переложила. Мне было ОЧЕНЬ неприятно, у меня там были личные вещи. Просто вот вытряхнула... А там у меня личные дневники, личные записи. Просто даже в трусах копать... Мне было очень неприятно оттого, что там лежат мои записи... [Ника]

Лишение собственности, являющееся по сути ограничением субъектности, может происходить и в принимающей семье (в целом,

ограничение в собственности до сих пор рассматривается в быту как одна из наиболее эффективных воспитательных — точнее, репрессивных — родительских практик):

Мама (приемная. — *Н. Г.*) говорит: «Отдай свою шкатулку с украшениями». А мне так обидно, я не хочу шкатулку эту отдавать. Там столько всего было собрано со всех моих поездок. Кто-то мне что-то дарил. Это такая большая память. И я просто сказала: «Я не отдам, мне все равно, что Вы скажете» [Наташа].

Бессубъектность связана и с ограничением перемещений, с границей, отделяющей детский дом от остального мира. В интервью Тани есть эпизод, в котором навестить ее в детском доме приходит отец, однако его «не впустили» за ворота, которые выступают материальным выражением границы, которую невозможно пересечь по собственной воле. Ника, заступившись за одну из обитательниц детского дома, оказалась вместе с ней буквально выставленной персоналом за дверь. Таня описывает прогулку с будущей приемной мамой «даже куда-то далеко за территорию».

Еще одной категорией описания сиротского опыта, на которой хотелось бы остановиться, является «**бездомность**». Эта категория в нарративной реальности наших источников устроена довольно сложно. Сразу хотелось бы избежать эмоциональных и моральных коннотаций слова «бездомность» в нашей культуре: в данном контексте оно означает не более чем «отсутствие дома», что нуждается в дальнейшем пояснении.

Понятие «дом» включает не менее двух измерений — с одной стороны, взаимно дополнительных, а с другой — не сводимых друг к другу (как в английском языке «house» и «home»). С одной стороны, «дом» как место индивидуального проживания человека или семьи (фактически это, как правило, квартира) противопоставляется детскому интернатному учреждению как месту коллективного проживания под надзором персонала.

В контексте жизни детей, оставшихся без попечения родителей, факт обретения собственного «дома» связан с наступлением совершеннолетия, когда такой человек должен получить от государства собственное жилье. Так что обретение «дома» — практически неизбежная часть биографии сироты.

В семью сначала забрали меня с сестрой. Потом, в 14–15 лет, забрали в семью моего старшего брата Р. Его забрали в Америку, американская

семья. <...> Там детям по окончании (при выпуске) выдают не квартиру, а целый дом.

С другим моим братом получилась так, что в семью его отдавали, но у него не складывалось. <...> Выпустился он, в конце концов, из детского дома, живет уже несколько лет в собственной квартире;

Мечты: шеф-поваром стать... в квартиру свою переехать в ближайшее время... Есть мечта встретить какого-то молодого человека и начать свою собственную семейную жизнь [Таня].

В некоторых случаях обретение собственной квартиры ожидается именно как важнейший рубеж, знаменующий полное обретение субъектности.

Так, Наташа, чей в высокой степени травматичный опыт призывает ее максимально дистанцироваться от людей (в том числе проявляющих заботу), рассказывая о проживании в гостевом режиме у одной из воспитательниц, производит дискурс, в котором можно увидеть противопоставление связанной с заботой и опекой «домашности» самостоятельному «жилью». Характерно многократное использование слова «квартира» в относительно небольшом фрагменте повествования:

До сих пор Лена пытается меня воспитывать. Я для нее реально маленький ребенок. Я к ней пошла в связи с расформированием детского дома пережить год до получения своей квартиры. Она должна была понимать это и ей изначально так и сказали. <...> До квартиры уже не так долго, но трудно... <...> Я боюсь то, что Лена, она очень одинокий человек, она очень боится того, что я уеду жить в свою квартиру. <...> ...конечно, она захочет мне помочь с квартирой, я знаю, что поддержка ее будет, что она не бросит меня. При этом при всем ей будет приятно, если с квартирой будут маленькие задержки. <...> Хотя всего пара месяцев до 18-летия, до квартиры [Наташа].

Интересно, что даже в случае с Полиной, максимально интегрированной в приемную семью, «собственная квартира» и «приемная семья» в некотором смысле противопоставлены:

Живу я отдельно в своей квартире, но со своей патронатной семьей поддерживаю отношения [Полина].

С другой стороны, «дом» является местом реализации «домашнего» — особых отношений, особого образа жизни, приватности, привязанности. Именно с этим пониманием дома связаны формулировки

«домашний уют», «домашний ребенок» (в противопоставлении «дет-домовцу» или «уличному ребенку»), вернуться «домой». Жизненный опыт сирот далеко не всегда позволяет в ходе социализации в полной мере освоить этот пласт культурных значений. Нередко обретение собственного жилья воспринимается как некоторая проблема, поскольку умение жить в собственном «доме» молодым человеком не освоено:

А потом тебе дают квартиру, ты выходишь, ты вот так приезжаешь в эту квартиру, сидишь и думаешь — а ведь никто не зайдет. И ломка начинается оттого, что тебе не хватает этого общения [Владимир].

Пока ребенок недостаточно интегрирован в семью, «дом» приемной семьи также воспринимается им в первую очередь как «жилье». Наташа, вспоминая о семьях, в которых ей довелось побыть очень недолго (из обеих семей ее вернули в детский дом), описывает в первую очередь жилое пространство, для Тани момент переезда также связан с образом квартиры:

Там были дома — у них же частные дома у всех. Они все трехэтажные, и там винтовая лестница.

Помню, у нее была большая красивая квартира, трехкомнатная, с огромным коридором, по которому я обожала в носках кататься. Большая ванная, духи (тетины) — мне все это нравилось... она мне купила большой домик Барби... Киска у нее жила... Кухня красивая со стойкой барной... Я всю до мелочей помню эту квартиру, расположение комнат: где ее, где моя, где... [Наташа].

Когда переехали в семью: все в этой квартире казалось странным, необычным. «Что, я буду здесь жить?» [Таня].

Вспоминая жизнь в детском доме, Таня также описывает его преимущественно как место/пространство:

Там была еще игровая, в которой мы очень любили сидеть, там был басейн с шариками. Еще мне очень нравился внутренний дворик с детской площадкой. Там мы тоже любили сидеть, гулять. В общем, мне приятно было там находиться. Еще помню, что на каком-то этаже были растения (типа зимнего сада что-то), и там, где они стояли, был интересный пол — стеклянный, прозрачный, сквозь него другой этаж было видно. Мы все боялись на него встать [Таня].

Следует отметить, что Таня в воспоминаниях о детском доме ограничивается этими впечатлениями, описывая их как очень позитивные

и утверждая, что детский дом был очень хорошим, лучшим из возможных. Однако о жизни, протекающей в этих стенах, она не упоминает (точнее — умалчивает). В то время как Полина, например, рассказывая о детском доме, останавливается именно на социальных отношениях, которые у нее сложились благополучно и, можно сказать, «по-домашнему»:

Но лично у меня не было таких ситуаций, что кто-то обижал меня в детском доме <...>. Старшие меня очень полюбили, хорошо ко мне относились. Уже потом меня переселили в другую комнату к моим ровесницам, но и там все жили дружно. Воспитатели хорошо к нам относились, помогали по школе [Полина].

При продолжительной жизни в семье и «освоении» как физического, так и социального пространства может сформироваться категория «домашнего». В представленных интервью распознать ее не всегда просто. Рассуждений на тему «дом, милый дом» у детей, изъятых из родительской семьи, проживавших в условиях детского учреждения, принятых в чужие им семьи и иногда отвергнутых этими семьями, вероятно, и не может быть. Тем ценнее фрагменты, в которых респонденты «проговариваются» об этом. Так, Таня рассказывает, как в силу обстоятельств однажды ей пришлось пробыть в детском доме полдня:

Но пока я побывала там это недолгое время — просилась домой.

Наташа в рассказе о благополучном периоде жизни в приемной семье дружила с мальчиком из школы:

Мы гуляли с ним, и он меня до дома провожал всегда на метро.

Следует отметить, что «домашнее» далеко не всегда является идиллическим:

Я убегал — дома нечего есть, дома пьяные родители, которые, там, бьют... [Владимир].

Забирают детей из родительских семей тоже «из дома». Выгоняют (как Наташу приемная семья) «из дома». Во всех этих случаях «дом» — не только «место», но и среда, пусть нездоровая, но обжитая, привычная. В интервью Тани и Полины (благополучное пребывание в приемных семьях) упоминания дома встречаются наиболее часто: выбор кулинарного колледжа Таня обосновывает тем, что часто готовила *дома*; рассказывая о жизни в приемной семье, упоминает,

что *дома* еще не было интернета. Полина *дома* рассказывает сестре, а потом маме (приемной) о появлении «родной» матери в школе. Этот способ говорить о жизни значительно ближе к «нормальному» — характерному для благополучной семейной социализации.

Таким образом, под «бездомностью» можно понимать, с одной стороны, неполную сформированность категории «домашнего», а с другой — отсутствие собственного жилья как индивидуальной собственности, зоны приватности и места разворачивания личной жизни.

Один из важнейших мотивов, который присутствует в нарративе, это мотив «**родства**». Это одна из наиболее сложных категорий, которая требует отдельного и довольно глубокого изучения, однако уже на основании этих интервью можно отметить несколько очень важных позиций.

Дискурс родства размыт в рассказах респондента. Один из главных примеров, это обращение к категории «мама». Обращение к приемной матери «мама» рассматривается как высочайшая степень доверия к ней.

И Таня, и Полина демонстрируют готовность и близость отношений с приемными матерями через то, что они обращаются к ним именно «мама». Причем в случае с Таней это происходит не сразу, а спустя длительное время после помещения в семью, а сестра Тани и вовсе не преодолевает эту границу интимности.

После переезда я довольно быстро стала называть маму мамой [Полина].

«Мамой» мы не сразу стали ее называть, сначала называли «тетей». Кажется, я чуть ли не в 15 лет впервые сказала: «Ма-а-ам!». Она так обрадовалась! Ей очень приятно это было. Не могла как-то сразу мамой назвать. <...> Старшая сестра никогда не называла ее мамой. Она даже до сих пор ее тетей называет. Но у нее уважение к ней огромное! Может быть, она просто не может... [Таня].

Наташа, рассказывая о приемной матери, в семье которой она прожила с 7 до 12 с половиной лет, несмотря на крайне болезненный разрыв и позднейшее решение прервать какие-то ни было контакты, употребляет исключительно слово «мама» (детей приемной матери называет «брат» и «сестра», так же как и Полина).

Обращение «мама» является в каком-то смысле сакральным. При этом за биологической матерью сохраняется определение «мама», нигде не говорится «мать». Причем о биологической матери те

респонденты, которые ее упоминают, говорят «родная мама». Употребление слова «родная» в этом контексте чрезвычайно значимо. Для сравнения, в дискурсе, производимом приемными родителями/усыновителями, с понятием «родной» обходятся совершенно иначе. Понятие «родной» (в первую очередь, «родной ребенок») — это оценочная категория, выразитель близости, готовности рассматривать ребенка как своего, и в этом смысле она распространяется и на приемного ребенка тоже. Для того чтобы отделить приемных детей от детей, родившихся в семье, приемные родители используют в отношении последних слово «кровный». Объединение кровных детей и приемных детей происходит благодаря использованию категории «родной». Для обозначения матери приемного ребенка в дискурсе приемных родителей используется либо словосочетание «кровная мать», либо, что чаще — «биологическая мать». Очевидно, что понятие «биологическая» в данном случае объективирует связь между матерью и ребенком, выводит на уровень общебиологической константы и лишает интимного наполнения и тех эмоциональных коннотаций, которые могут содержаться в понятии «кровный». Таким образом происходит интересное распределение: «кровные дети» (позитивная коннотация) и приемные дети объединяются в категорию «родные дети», в то время как родители приемного ребенка определяются как «биологические».

Для наших респондентов здесь появляется пространство для смысловой неопределенности. Понятий «кровная» и «биологическая» мать для них не существует, для них это «родная мама». Возникает странный эффект, когда человек, который родил ребенка и его же бросил или довел ситуацию до изъятия ребенка из семьи, все-таки называется «родная мама».

Второй момент — разделение или неразделение кровных или приемных братьев и сестер. Это особенно заметно в ситуации Наташи, чей конфликт с приемной семьей — матерью катализирован конфликтом с приемным братом, который поднял руку на сестру. В болезненных воспоминаниях об этом эпизоде Наташа с некоторой путанностью использует понятия, связанные с «родством».

Брат! Про которого мне говорили всегда, что брат — это родной человек, который за сестру горой. <...> Я поняла, что он так сказал потому, что он не мой родной брат. <...> Какая разница, его я родная/не родная, просто получилось, что я по названию его сестра. И по определению нельзя таких слов говорить сестре, младшей, тем более [Наташа].

На уровне отношений брат — сестра категория родства оказывается значимой как-то иначе.

В рассказе Полины о том, как ее нашла и захотела познакомиться «родная мама», Полина поначалу скрывает от (приемной) мамы этот факт, однако делится с сестрой. Для Полины кровные дети приемной матери становятся ее родными братьями и сестрами, в ее интонациях присутствует эта близость и неразделенность.

В этой семье у меня появились старшие сестра и брат, родные дети моей приемной мамы. Мы быстро сдружились с ними. Сестра, которая старше меня на 5 лет, сама хотела иметь сестренку. Иногда мы с сестрой, естественно, ругались, случалось такое, но с братом мы не ругались никогда. Он сильно старше, и он в основном помогал мне. Сестра уже только сейчас стала признавать, что она ревновала меня тогда к маме. <...> Что для меня самое важное в моей семье — это доверие! Все доверяют друг другу. И мама очень много для нас делает — для всех троих детей [Полина].

В интервью Тани ситуация отличается тем, что дети были изъяты из многодетной семьи, и у Тани существует несколько кровных братьев и сестер, жизнь которых сложилась очень по-разному. Для Тани, которая вместе со старшей сестрой благополучно устраивается в приемной семье, кровные связи с теми братьями, с которыми у нее нет возможности общаться, являются чрезвычайно высокой ценностью. Также Таня, говоря о приемной матери, говорит «мама», биологическую мать называет «родная мама». Несмотря на сильную обиду и драматизм рассказа о биологической матери, само словоупотребление помогает Тане «уговорить» себя в том, что «родную маму» тоже нужно ценить. Мягкое и теплое выражение как бы сглаживает реальный и болезненный конфликт, который существует между детьми и их биологическими родителями.

Мне кажется, обеих мам надо ценить. И свою родную маму — за то, что она тебе жизнь дала. И неважно, как потом складывалось, как тебя не понимали, что ты в детстве видел. Все равно, надо ценить свою маму, она тебе жизнь дала. Но взять примера ты с нее можешь мало [Таня].

Ситуация Владимира особенно сложная. Он был воспитан в приемной семье, которую считал родной, был изъят из этой семьи и помещен в детский дом, затем несколько раз был принят в семьи и возвращен обратно в детское учреждение. Таким образом, в его рассказе фигурируют биологические родители, родители, которых

он считал родными, а также присутствуют значимые для него «папа Ленья» и «мама Люда» — судя по контексту, профессиональные родители в семейном детском доме или SOS-деревне. Здесь «мама» и «папа» не сущности, а функции. Конструкция родства оказывается очень проблемной и сложной. В дальнейшем, говоря о взаимоотношениях потенциальных приемных родителей или волонтеров и детей-сирот, он несколько раз подчеркивает, что, возможно, ребенок не нуждается в родителях как таковых, а просто нуждается во взрослом, который поддержит ребенка. Владимир элиминирует из этих отношений претензии на «родство», которые чаще всего существуют в сознании усыновителей.

Наташа, травмированная несколькими возвратами, в конце своего повествования настойчиво утверждает, что никого не может назвать «родным» человеком и никого не может назвать «родственником». Категория родства настолько нагружена травматичным опытом, что нет никакого смысла использовать его для описания тех связей, которые у Наташи есть.

У меня нет родных людей. Я по жизни столкнулась с тем, что у меня нет родных людей, я сама по себе. Я не могу к себе подпустить так легко. Сделать кого-то... так быстро назвать родным, если просто я с ним живу, я не могу этого. С детства меня так воспитала жизнь, что я никогда этого не делаю. Друзья — друзья. Близких друзей не могу назвать. Родственники... тоже родственником не могу никого назвать [Наташа].

Добавлю, что родство как генетическая преемственность может стать основанием стигматизации³. С этим столкнулась Наташа: «Это все материнские гены, ты пойдешь по ее стопам и станешь такой же, как она», — эти и подобные вещи регулярно говорит Наташе ее опекунша.

Разумеется, тремя названными категориями не описывается система репрезентации опыта сиротства в данных источниках, однако их можно считать ключевыми. Из не вошедших в данный обзор важнейшей для нарратива темой является тема образования и профессиональной карьеры.

Не останавливаясь на ней подробно, отмечу, что профессиональная самореализация — тот сюжет, с которым у респондентов связаны самые позитивные ощущения и ожидания.

³ О других формах стигматизации, отмеченных в интервью, см.: Без родителей... 2019: Гл. 4.

* * *

Помимо работы с категориальным аппаратом, выявляемым в ходе анализа текстов путем кодирования, идентичность респондента может анализироваться через нарративный анализ, а точнее, путем определения типа *биографической работы*, которая предполагает конструирование нарративного «Я» респондента и выстраивание биографии с точки зрения определенной связующей логики.

Следует отметить, что для респондентов опыт их жизни на момент интервьюирования, в сущности, являлся тождественным сиротскому опыту. Поэтому в них практически полностью отсутствует дистанция по отношению к серии довольно травматичных переживаний. В то же время все респонденты — молодые люди, стоящие «на пороге взрослой жизни», что вмещает им эту дистанцию. Сиротами мы обычно не называем взрослых людей, лишившихся родителей: сиротство осмысляется в обществе как проблема, лишь будучи соотнесена с несовершеннолетним возрастом и зависимым состоянием («дети, оставшиеся без попечения родителей»).

Если смотреть с точки зрения темпоральной организации нарративов, то секвенции практически во всех повествованиях могут быть разделены на две группы. Во-первых, те, которые относятся к прошлому респондентов (даже в том случае, если эмоциональное переживание или рациональная рефлексия этих эпизодов происходят из настоящего времени). Вторая группа секвенций — те, которые относятся к настоящему респондента на момент проведения интервью (даже если они включают планы на будущее). Вопрос построения нарратива серьезным образом связан с вопросом темпоральности, поскольку возникает вопрос отношения между точкой, из которой респондент говорит («настоящее») и основным содержанием его рассказа (это всегда «прошлое»). Какие здесь могут быть отношения? Важно понимать, как человек приходит из точки А — начало истории — в точку В, где он находится в момент повествования. В любом случае этот путь, согласно самому понятию нарратива и той логике, которая содержится в понятии «биография» или «жизненный путь», всегда должен быть понятной и правдоподобной конструкцией. Фриц Шютце, последовательно применявший технику нарративного интервью в биографических исследованиях, выделил четыре таких конструкции, или четыре типа биографической работы: биография как траектория идентификации; биография как стратегия; биография как институциональная карьера; биография как превращение (метаморфоза).

Если мы посмотрим на материалы интервью, то мы увидим, что те секвенции, которые повествуют о прошлом, и те секвенции, которые повествуют о настоящем, чаще всего противопоставлены. Респонденты декларируют не преемственность, а *разрыв* между состоянием сегодняшнего и дня и тем по сути трагическим прошлым, в котором они находились. В связи с этим может показаться логичным отнести эти повествования к выделенному Шютце типу метаморфозы. Однако это не совсем корректно по ряду причин. Во-первых, метаморфоза подразумевает относительно внезапное преобразование, связанное с одним событием или некоторым комплексом событий, которые «вдруг» заставляют человека изменить траекторию жизни. В случае анализируемых интервью такого «вдруг» не обнаруживается: в них происходит противопоставление не какой-то одной части прошлого другой части прошлого, пройденного пути, а всего прошлого по отношению к настоящему. Все метаморфозы, происходящие с детьми-сиротами, — это не какое-то одно событие, а серия событий, которые вносят свой вклад в решение или в необходимость новой жизни, нового этапа, о котором дальше идет речь. Кажется важным понять, что результатом разрыва настоящего с прошлым являются не столько какие-то внешние события, сколько внутренняя работа над собой в результате рефлексии всех событий, которые молодой человек прожил. В этом отношении данные интервью напоминают в целом специфику биографических интервью молодых (в среднем до 25 лет) респондентов, которые, как правило, ориентируются не на социокультурный контекст, событийный ряд и обобщенный опыт поколения (что характерно для поколения старше 40 лет), а на собственное «Я» и рассказывают главным образом о процессе внутреннего становления — это можно было бы условно назвать «биография как самопознание»⁴. Биографический опыт молодого человека — это опыт осмысления самого себя, своей личности. Этот элемент присутствует и в интервью респондентов с опытом сиротства. Однако этот не тот же самый тип «самопознания», поскольку в них все-таки довлеет событийный ряд — именно он составляет описываемый «опыт сиротства». Возникает вопрос, как с этим опытом поступает респондент? Ответом может быть понятие «преодоление». Респондент в ходе всей своей жизни и в особенности на финальном этапе, на момент «настоящего», откуда ведется повествование, преодолевает негативный, травматичный, нездоровый опыт

⁴ Данное утверждение базируется на опыте анализа множества биографических интервью, взятых студентами факультета культурологии РГГУ в рамках курса «Социология культуры» в течение нескольких лет.

своего детства. Это преодоление выглядит как преодоление травмы, поскольку сиротский опыт невозможно рассматривать как «нормальный»⁵.

Таким образом, нарративная стратегия, которую мы можем увидеть практически во всех этих интервью, это стратегия *преодоления*. Конечно, между разными респондентами существуют расхождения, которые связаны, в частности, с различной степенью травмированности. Можно привести два «негативных» примера (Наташа, Владимир), чьи судьбы связаны с возвратом, и относительно позитивный опыт Тани, Полины и Ники, где интеграция в социум, социализация является одновременно и преодолением. Поскольку в случае Тани и Полины речь идет об успешном вхождении в принимающую семью, «преодоление» оказывается несколько стертым, поскольку преодолевать вроде бы нечего — все складывается благополучно. Те не менее и в этих случаях логика преодоления работает по меньшей мере в некоторых аспектах биографии, как, например, в вопросе взаимоотношений с биологическими родителями. Это особенная тема: преодоление травмы как примирение с биологическими родителями — в первую очередь, с матерью (Без родителей... 2019: Гл. 4).

Преодоление может конструироваться с разных позиций. Для тех респондентов, чей опыт социализации можно считать благополучным, преодоление воспринимается в первую очередь в позитивных категориях — желании создать собственную семью, обустроить собственный дом и собственный быт, завести своих детей. Для всех из них при этом важен разрыв с опытом биологических родителей как условие преодоления травмы.

Я никогда не буду как она. Я для себя решила, что мои дети никогда не будут такой, как она. И никогда я их не кину, и они получат у меня столько тепла, вообще [Наташа].

При том, что во всех интервью присутствует два типа секвенций — отсылающих к прошлому и относящихся к настоящему, структурно они могут соотноситься разными способами. Повествование может быть как линейным (последовательное разворачивание событий во времени), так и нелинейным («перебивка» рассказами о прошлом вставками о текущем положении респондента). Настоящее может появляться, как у Тани, в рассказе, для того чтобы оттенить травмирующие эпизоды. Происходит это неосознанно: получается, что те эпизоды,

⁵ О репрезентации травматического опыта в данных интервью см.: Без родителей... 2019: Гл. 4.

которые мы можем понять как травматичные, перебиваются эпизодами из настоящего, которое выглядит как позитивное и «хорошее».

Владимир поступает иначе. Он начинает свое повествование с эпизодов, посвященных настоящему. И тем самым задает позитивный настрой, несмотря на то что его опыт представлен как чрезвычайно травматичный. Заранее выставив позицию «хорошего» настоящего, он подготавливает нас к идее, что все негативное, изложенное впоследствии, окажется в конечном счете преодоленным.

Нарративный анализ сопряжен не только с тем вопросом, какова связующая логика повествования, не менее важно показать, из какой точки зрения ведется повествование. Повествователь никогда не тождественен реальному человеку, описывающему свой опыт. Биография рассказывается из какой-то позиции жизненного пути, важна дистанция, отделяющая повествователя от описываемого опыта. Тот, кто повествует — категория неустойчивая, изменчивая, соответственно, мы ведем речь не о «Я» респондента, а о нарративном «Я». Одна из задач нарративного анализа — выявление характеристик нарративного «Я».

Опыт сиротства встраивается в общий биографический опыт. Однако для наших респондентов на момент интервью опыт жизни по сути и является опытом сиротства. В данном случае, в соответствии с логикой преодоления, «Я» — это тот, кто справился с травмой, преодолел ее и готов двигаться дальше:

Я хочу сказать/начать с того, что я счастлив сейчас, на данный момент, в жизни... Ну, это итог, итог вообще всей работы, всей жизни до данной минуты. То, что должно быть итогом жизни человека — это я выполняю сейчас. <...> Даже без каких-то плохих моментов мне, наверное, не было бы так хорошо сейчас. Пусть будет такое оптимистическое начало [Владимир].

Я просто поняла, что дальше двигаться буду, самореализовываться, буду двигаться только к лучшему. Пусть будет сложно, пусть будет преград много наставлено, но я как бы подниму себя. И я обеспечу себе хорошее будущее, своему ребенку, и все у меня будет хорошо [Наташа].

Необходимо отметить, однако, что внимательный анализ интервью показывает несостоятельность попыток представить преодоление декларируемого преодоления травмы как реальное (Без родителей... 2019: Гл. 4). Опыт преодоления травмы это, скорее, «придуманный опыт», то, что Бурдые называет «биографической иллюзией» (Бурдые 2002). Нарративная конструкция «преодоления» создается за счет

«работы» с главными «болевыми точками» нарратива: в первую очередь, это обретение **субъектности**, которое естественным образом связывается с совершеннолетием, обретением собственного жилья, получением образования и/или профессии.

Источники

Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.

Без родителей: сиротство как социокультурное явление. М.: РГГУ, 2019 (в печати).

Бурдые П. Биографическая иллюзия // *Интер*. 2002. № 1. С. 75–83.

Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарративного интервью: реконструкция биографической работы // *Российский гендерный порядок: социологический подход*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 227–249.

Островская Е. А. Биографический нарратив в изучении религиозности // *Вестник Московского университета*. Сер. 18: Социология и политология. 2016. № 4. С. 65–80.

Розозин Д. М. Биографический метод: обзор литературы // *Социологические исследования*. 2015. № 10. С. 120–129.

Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 381 с.

Рустин М. Размышления по поводу поворота к биографиям в социальных науках // *Интер*. 2002. № 1. С. 7–24.

Сушко Н. Г. Скрытое социальное сиротство как социально-психологический феномен // *Вестник ТОГУ*. 2009. № 2 (13). С. 269–276.

Сушко П. Е. Биографический поворот в миграционных исследованиях: новые возможности и ограничения // *Материалы VI международной социологической Грушинской конференции «Жизнь исследования после исследования: как сделать результаты понятными и полезными»*, 16–17 марта 2016 г. / Отв. ред. А. В. Кулешова. М.: ВЦИОМ, 2016. С. 536–539.

Chamberlayne P., Bornat J., Wengraf T. The turn to biographical methods in social science comparative issues and examples. London; New York, 2000. 368 p.

References

Bahmann-Medik D. *Kul'turnye povoroty. Noveye orientiry v naukah o kul'ture* [Cultural turns. New landmarks in the cultural Sciences]. Moscow, New literary review, 2017, 504 p. (In Russian)

Bez roditeley: sirotstvo kak sotsiokul'turnoe yavlenie [Without parents: orphanhood as a sociocultural phenomenon]. Moscow, RGGU, 2019 (Is being published) (In Russian)

Burd'e P. Biograficheskaya illyuziya [Biographical illusion]. *Inter*, 2002, no. 1, pp. 75–83. (In Russian)

Chamberlayne P., Bornat J., Wengraf T. *The turn to biographical methods in social science comparative issues and examples*. London, New York, 2000, 368 p.

Ostrovskaya E. A. Biograficheskii narrativ v izuchenii religioznosti [Biographical narrative in the study of religiosity]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya [Bulletin of Moscow University. Series 18. Sociology and political science]*, 2016, no. 4, pp. 65–80. (In Russian)

Rogozin D. M. Biograficheskii metod: obzor literatury [Biographical method: literature review]. *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies]*, 2015, no. 10, pp. 120–129. (In Russian)

Rozhdestvenskaya E. Yu. *Biograficheskii metod v sotsiologii [Biographical method in sociology]*. Moscow, Publishing House of the Higher School of Economics, 2012, 381 p. (In Russian)

Rustin M. Razmyshleniya po povodu povorota k biografiiam v sotsial'nykh naukakh [Reflections on the Turn to Biographies in the Social Sciences]. *Inter*, 2002, no. 1, pp. 7–24. (In Russian)

Sushko N. G. Skrytoe sotsial'noe sirotdstvo kak sotsial'no-psihologicheskii fenomen [Biographical turn in migration studies: new opportunities and limitations]. *Vestnik TOGU [Bulletin of Pacific national university]*, 2009, no. 2 (13), pp. 269–276. (In Russian)

Sushko P. E. Biograficheskii povорот v migratsionnykh issledovaniyakh: novye vozmozhnosti i ogranicheniya [Biographical turn in migration studies: new opportunities and limitations]. *Materialy VI mezhdunarodnoy sotsiologicheskoy Grushinskoy konferentsii "Zhizn' issledovaniya posle issledovaniya: kak sdelat' rezul'taty ponyatnymi i poleznymi", 16–17 marta 2016 g. [Proceedings of the VI International Sociological Grushinsky Conference "Life after Research: How to make the results understandable and useful", March 16–17, 2016]*. Resp. Ed. A. V. Kuleshova. Moscow, VTsIOM JSC, 2016, pp. 536–539. (In Russian)

Zdravomyslova E., Temkina A. Analiz narrativnogo interv'yua: rekonstruktsiya biograficheskoy raboty [Analysis of narrative interview: reconstruction of biographical work]. *Rossiyskiy gendernyy poryadok: sotsiologicheskii podhod [Russian gender order: a sociological approach]*. Saint Petersburg, Publishing House of the European University at St. Petersburg, 2007, pp. 227–249. (In Russian)

Галушина Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии, Российский государственный гуманитарный университет.

Galushina Natalia S., Candidate of cultural studies, Associate Professor at the Department of Socio-Cultural Practices and Communications, Faculty of Cultural Studies, Russian State University for the Humanities.

galushiny@yandex.ru